

ТАТЬЯНА АЗОВСКАЯ

СМУГЛОЕ
ЛЕТО

СТИХИ



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»

1985

P2
A35

Рецензенты:
Р. Тамирина, член СП СССР; *Н. Скалон*

A $\frac{4702010200-067}{402(05)-85}$ 159-85

© Издательство «Жазушы», 1985

ИСТОК СУДЬБЫ



ПАМЯТЬ

У памяти возраст особый.

Я помню,

как падал туман шесть столетий назад

на берег Непрядвы,

как ночь караулили кони,

и отсвет костров отражался в спокойных глазах.

И снег на Сенатской я помню,

и окна на Мойке —

при жизни хозяина —

в тихом сиянье звезды,

и тяжесть цветов,

что под ливнем победным промокли,

и запах тревожащий

первой степной борозды.

Такому нельзя научиться!

Сквозь все времена и пространства

попынным огнем полыхнет

и оставит пожизненный шрам.

О Родина!

Память твоя — это возраст гражданства,

где — рядом —

Гагарин

и в Нерль заглядевшийся храм!

УРАЛ

1

Живу на пограничной полосе,
где белый свет на миг сойдется клином
и вновь крыла просторные раскинет,
и засверкает радугой в росе.

А крутоярье бросится в бега,
вплавь по реке, не ведая okazji.

Урал соединил не берега,
не части света, чтоб создать Евразию.

Отсюда начинается родство
кровей горячих —

связь Руси и Поля.

И безграничное уже —
простор —

читается еще просторней:

— Воля!

Бегу к реке темнеющей тропой,
и ситцевое платье бьет колени.

Мне насмотреться б, как на водопой
скользит луна серебряным оленем,
как этот мир, рожденный на добро,
ни в чем не знает мер и полутона.

И только ежевичное перо
роняет август в тишину затона.

Плывет Урал из дальней старины,
к степям и рощам преданно привязан.

И сладкий дым с бухарской стороны
плетет над ним
узор славянской вязи.

2. КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, мой Урал, до будущей весны!
Спи под присмотром берегов высоких!
Звезду верхушкой зацепил осокорь
и погасил, чтоб не тревожить сны.
Спи, мой Урал, до будущей весны!

Храни тебя, удача и ветла!
А ты — храни веков былую славу.
Как руки мамы, здесь надежны травы,
и словно лик ее — заря светла.
Храни тебя, удача и ветла.

Святая память не остудит кровь.
Взойду на яр — глазам предстанет снова
последняя надежда Пугачева —
казачки Усти горькая любовь.
Святая память не остудит кровь.

Как рассказать о доблестях твоих —
пересчитать ли солнечные блики?
Люблю речь вольницы многоязыкой,
степной напев, похожий на разлив,
на пьяный запах молодой чилиги.
Как рассказать о доблестях твоих?

Спи до весны!
Потом возьмешь в полон
луга и рощи и напоишь пашни.
Мне повториться в дочери однажды,
чтоб через время, преступив закон,
смогла войти в твое движенье дважды
и более...

— Легка любви ладонь
и ярк свет, пролившийся на землю.

А у затона тихо баржи дремлют
и жаркий лист кружится над водой...
— Легка, Урал, твоей любви ладонь!

3

А главное — останется река —
исток судьбы,
дремучий голос крови.
Здесь хитрый предок обучался воле
и обживал крутые берега.
Здесь мать моя глядела на разлив,
чтобы, когда покинут гнезда птицы,
глаза последней дочери смогли
уральскою волною повториться.

И как ни властны голоса друзей,
как ни бегу на зов, —
глаза прикрою:
опять стоит будара на приколе,
и, словно солнце,
чешуя язей
расплещется по днищу,
засверкав
наградю за промысел нелегкий.
А на яру подсолнухов головки
заломлены фуражкой казака.

Здесь, на песке, тепло моих следов,
здесь помнит губы спелость ежевики.
И родина, как первая любовь, —
чтоб рассказать о ней —
мы безъязыки.

Мне б только знать —
отныне, навека,

приняв в родню весь мир страны огромной,
что — главное —
останется река,
на берегу которой молвлю:
— Дóма!

ТАМАРИСК

Возьми карандаш и пиши
что хочешь.
Пиши и надейся —
подслушаешь голос души
чужой. И узнаешь наследство
прабабки.
Потом затаишь,
чтоб тайну не выдать прохожим.
(— Похожа, — промолвят, — похожа).
И вспомнится:
цвел тамариск
на диком крутом берегу.
(а тут — оголтелость сирени).
И песня нездешних селений
сорвется нечаянно с губ.

Доверься бумаге. Спешу
создать очертанье Урала
и профиль турчанки Айши,
которая Анною стала.
Как десять ее сыновей
тьмой глаз могли спорить с ночами!
Как взмылены крупы коней!
Но только сначала...

Сначала
попробуй представить закат —
и подкараулит разлука.

А миг или вечность назад —
болит все равно.

И наука
целебных советов и средств
уже не спасает от риска
увидеть цветы тамариска,
где быть их не может
и — нет.

А в солнца расплавленном диске
есть хитрый прищур казака
(меж ней и тобою посредник).
И взглядом турчанки последней
над степью пылает закат.

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ

Остановись, казак, на берегу!
Кем станут звать — женой или вдовой?
С последним стоном почерневших губ
паду к ногам подкошенной травой.

Тоска забьется неводом пустым,
конь не найдет родного табуна.
Исхлестанная ветрами пустынь,
в окно заглянет скорбная луна.

И опадут дурманные цветы
на одеялах в горнице моей!..
Выспрашивать устала у святых —
ужель чужбина для тебя милей!

Чью злую удаль испытал Урал!
Чьи песни волновали небеса!
Ужель затем любезной называл,
чтобы от горя выцвели глаза?

Как пропадешь среди чужих камней, —
твоих следов они не сберегут!
В луга родные отпусти коней,
остановись, казак, на берегу!

—

Мне эту песню нашептала кровь.
Храни, судьба, Отечество и кров!

* * *

Отец мой умер на войне.
Когда в последний час агонии
он в кулаки сжимал ладони,
и —
крик носился по стене:
— Вперед!
— За Родину!
— Вперед!..

Шел семьдесят четвертый год —
двадцать девятый год Победы.
И август на ладонях лета
лежал, как драгоценный плод.
И лес, торжественен и дик,
синел на берегу Урала.
Когда я там с отцом бывала,
я думала:

он — лесовик.

Он — из породы колдунов, —
с ним разговаривают птицы,
и лист сверкает и ложится
зеленым лучиком у ног.

Да, фантазер и чародей,
но никогда, увы, не воин.

Он был надеждой и покоем
и частью родины моей,
где жили верные друзья,
где добрые гремели грозы,
где только — мир и только — я
существовать не смели розно.
И день, явившийся в окне,
был сразу долгим и мгновенным...

А все-таки в отцовских генах
кричала память о войне.
Она внезапно прорвалась,
стерев собой другие даты.
И мой отец в последний час
себя увидел вновь солдатом.
Как на экране, по стене
металась праведная ярость...

В двадцать девятый мирный август
отец мой умер на войне.

* * *

Мой прадед гарцевал в Париже.
Отец дошел до стен рейхстага.
Хоть был им несравненно ближе
дым очага, чем бивуака.

...Урал справляет половодье,
не зная устали и страха.
Две сферы воедино сводят
бессмертные хоралы Баха.

...Весна и молодость — желанны.
Мой дом, как струг, плывет над яром.
Смеется огненная Жанна
На полотне у Ренуара.

В мой быт вошли века и страны
сонат и книг бесценным чудом.
Я славить жизнь не перестану,
но никогда не позабуду
тот путь из-под родимой крыши
через года утрат и тягот...

— Мой прадед гарцевал в Париже!
И был отец у стен рейхстага!

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ГОРОДА

В провинциальных городах
есть ощущение покоя,
как будто легкою рукою
их осеняет благодать.

Здесь дом пронесит высоко
свое значенье.

И ступени
из душных зарослей сирени
к реке сбегают босиком.
И, вырываясь из оков
густых плетней,
роднят со светом.

Седобородых стариков
невозмутимые беседы...
Прохожему, как щедрый дар,
вручается поклон при встрече...
В провинциальных городах
не быт,
а бытие и вечность.

Здесь лишним не бывает рот,
чужим здесь не бывает горе.
Здесь спаяны единым корнем
Природа —
 Родина —
 Народ.

ЧАС УЧЕНИЧЕСТВА



МУЗЫКА БЛОКА

Та музыка, что слышал Блок,
вдруг ожила и стала вещной.
И дней постыдную поспешность
далекий голос превозмог.

А за окном плыл снегопад,
подслеповат и вороват.

Он льнул

к стеклу,

прося

приюта.

И совершенно невпопад
звезда светила в глубине
одной снежинки.

И как будто

века

на землю

падал

снег...

Певцу был нужен балаган
с печальным ликом Коломбины,
чтоб уводил дорогой длинной
обворожительный обман.

И мир двоился, как в туман
двоился облик Петербурга —

Он был незыблем, словно бургер,
И — словно гений — одинок.
Тогда из темноты крошечной
явилась музыки мятежность,
что слышал Александр Блок.

И эта музыка уже
из дневников предсмертной боли,
однажды вырвавшись на волю,
кружилась в снежном вираже.
Почти на грани миражей,
на самом рубеже агоний
был мир, чью гибель предрекал
в стихах, прямя изгиб лекал,
не защищаясь от погони
и выпадая из зеркал.

И поднимался потолок
в уютном старом кабинете.
И, нарастая, черный ветер
и белый снег — валили с ног.
Но муку своего бессмертья
переложив на новый слог —
от слуховых галлюцинаций
до звонкой речи прокламаций, —
соединял, как пару строк,
мятеж и музыку —
в «Двенадцать».
И Богом становился Блок.

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

На одну судьбу — и одной реки
хватит каждому. — Знаем сами...
Но — взгляделась в жизнь — у Оки,
от нее заслонилась — на Каме.

Выбирала нелегкий путь,
словно не было выше долга
хоть посмертно душе вернуть
лебединый простор над Волгой.

Этот вольности русский разлив
сокрушал эмигрантский камень.
Над Окою трубят журавли,
чтобы зов оборвать — на Каме.

Два притока одной реки —
равной боли и равной силы...
Две распахнутые руки —
так в себя вобрала — Россия.

* * *

Слагались звуки и слова
во имя музыки и речи.
И, зеркала храня овал,
дрожали, оплывая, свечи.
И легкий профиль в уголке,
оставленный рукой небрежной,
принадлежал одной из женщин,
пока не узнанной никем.
С рассветом наступал покой...

Еще и звезды не остыли,
а благодушный простофиля
уже склонялся над строкой.
Инициалы разгадал,
судил с пристрастием педанта,
как с вдохновением таланта
соотнести оригинал.

...А эта женщина жила
не опечалена нимало.
Ходила в храм. Детей рожала.
И слава — ей не тяжела.
Глаза, так царственно горды,
размноженные по портретам,
не видели большой беды
в любви безумного поэта.

Не трудно же, в конце концов,
на лик сменить лицо — как платье.
Она хранила безучастье
к значенью од или канцон...

Потом раскаянье придет
и суд молвы. — Спустя столетья.
И ей даровано бессмертье
как эшафот.

МОНОЛОГ ДЖИОКОНДЫ

«Я разгадал улыбку Джюоконды...»

— И ты поверил, что нашел разгадку?
Не торопись!
Какой во мне секрет?
Я — лишь искусствоведенья предмет,
истории удобная закладка.
Я — ответ любопытствующих глаз,
восторг души и темной плоти рухлядь,
мне быть равно — богиней или шлюхой.
Я — только то,
К А К смотришь ты сейчас.
Все остальное — это жизнь твоя.
Твой —
скорбный и благословенный опыт.

Когда, себе кумира сотворя,
меня в захлеб расхваливали толпы,
я понимала:
каждый — должен быть
единственным...
А миг бессмертья — краток.
И не было надежней ворожбы!..
А ты поверил, что нашел разгадку.

Как небо над Флоренцией глубоко!
Как холодит одежд свободный шелк!
И чья-то песня слышится из окон,
И я — спокойна:
ты — ко мне — пришел.

* * *

Задумалось о вечности дитя,
бросая в море камушки с откоса.
Ему пристало быть светловолосым,
чтоб вспыхнул нимб над головой шутя.

Границу круга прерывает круг,
волной, коснувшись берега, растает.
Дитя беспечно камушки бросает
и смех его —

бери в ладони —

кругл.

И каждый раз — как восклицанье — всплеск,
откуда только шаг — до озаренья.
Всем кругозором детского творенья
вбирает море глубину небес,
где Солнце, выйдя из созвездья Льва,
остаток лета поручает Деве.
Но ход светил папирусы халдеев
пока еще наметили едва.

И только останавливает взгляд,
минуя беспредельность дня и года,
тот миг один, где, обретя свободу,
векам подобно камушки летят.
И этот миг сойдется в глубине
с другим — по удивленью — одинаков.
А Солнце вновь, послушно Зодиаку,
отметив лето, движется к весне.
И возвращает золотой откос,
где, в поколениях избежав повтора,
навстречу вечности смеется тот,
который

так юн, беспечен и светловолос.

* * *

Благодарю тебя, работа!
Не легкой рифмы позолота,
а мой надежный день и хлеб,
командировок бездорожье,
где стережет раздолье коршун,
где горизонт от зноя слеп.
Благодарю за то, что рядом
в смертельный час моей беды
в руке крестьянки, как награда,
вдруг оказался ковш воды,
и что ни разу одинокой
себя не чувствовала здесь,
где время диктовало строки,
стирая грим, сбивая спесь.
И я была одной из многих,
со мной деливших по дороге
печаль и радость, хлеб и соль.
И перед этою тревогой,
пред щедростью простой и строгой
неслышно отступала боль.

СМУГЛОЕ ЛЕТО